

Увещевания I

Переполосица. Петух. Что-то очень киевское. "Украинские заметки" можно назвать, если получится. А если не получится – тогда "В шуме поездном" назвать.

Совсем ничего не получится – назвать "шахматы".

Сегодня вечером, когда мы зайдем за вами:

– Джудит! Джудит! – такой будет крик.

Всего лишь? Не знаю, края рамы упрямы, но, может, подарят нам еще нового малыша, как мне подарили они Украину. Гольца какого-нибудь.

При неуклонном отрицании заснеженного Симбирска – можно надеяться.

– Джудит! Джудит! Обезьянка Джудит! Значит, я могу надеяться, ты подаришь мне мальчика?

– Надеяться всегда можно! – говорит гнусавый, самодовольный Ширвиндт.

Нет, жопа Ширвиндт! Надо молиться. Или пытаться. Занозисты края рамы, упорные, толстые. И тогда уж как выйдет. На этом удаленном рынке, привозе жизни.



Переполосица. Петух. Что-то очень киевское. "Украинские заметки" можно назвать, если получится. А если не получится – тогда "В шуме поездном" назвать.

Совсем ничего не получится – назвать "шахматы".

Я не знаю, что приятнее – писать или переименовывать. Переименовывать. Хрещатик опять-таки.

Опаньки, медгерменевтика, Пепперштейн поканал. Этого не надо. Переименоваться. Такое

вот занятие – перекрещивать иконы на добывания чая жизни, а не иконой перекрещивать.

Изображение всегда сзади. Если получится. Оно на дальних поездах.

Можно, конечно, черпать и из никчемной речи, вроде Севы Некрасова.

Не забывая при этом Блока Александра.

Нет, танцевать в гарнизонах – это не святое, это социальное дело! Ну насколько социальным может быть жар медузки. В самом деле, насколько социальным может быть укусы медузки? Она же не хотела, она не со зла.

Она – офицер элегантный, ремнем блестящим в талию подпоясанный. В рюмочку. В сапожники.

Потом наступает революция, и половина стадиона взбаламученная орет: "Сапожники! сапожники!". Дескать, ничего не умеете, офицерье! Потом приходит патриарх Сергей, или патриарх Тихон, или патриарх Кирилл и урезонивает толпу:

– Нет, они умеют, умеют! А те, кто кричат "не умеют" – те инородцы, мордва.

"Только мордву кусает медуза", – о, это ли хотел сказать патриарх? И мордва не восхищается офицером тонким? Хлыстик офицера, офицерья. Восставшая мордва, затянута в противокмариную сетку. И так всегда, стоит народу восстать, он пойдет на укусы медуз, затянутый в противокмариную сетку (розданную по ошибке братьями Кличко).

"Хао-и! Хао-и!" – поет Харри Партч. Красная Армия, Неуловимые мстители.

"Хао-и? Хао-и? Как вы там, за горизонтом, всадники скрипичных полей?!" А тем временем спокойно я вновь выхожу на длинный пляж. Единственное назначение которого спрашивать: "Как вы там, Неуловимые Мстители, Ли Бо и Моби Дик?".

Тот Длинный Пляж, по которому мы ходили еще с Ануфриевым, напевая: "Как вы там? Хи-и! Хо-о! Хи-и!".

Сколько бы у меня ни спрашивали, я даже не буду отвечать.

"Сколько это будет стоить?" или "Сколько вам лет осталось?" – даже не буду отвечать. Будто родившийся в сорочке. С вышивкой. Или родившийся в горах невежа. Или родившийся прямо в классе привилегированной городской школы – неотличимы. Наверное этого состояния достиг Вальзер. Когда посреди ежедневной прогулки он упал в альпийский луг. Сравнил все вопросы с гомоном альпийского луга. В его траве зеленой. Или синем корабле? Или не пал? Не сравнил? "Брыц! Брыц! Брыц!" – ловить с матросов вопросы.

Бедные тварины. Только в Киевском дельфинарии их было несколько сот штук. Теперь их

приходиться отпускать назад в соленые воды Атлантики, где они наверняка погибнут.

А до этого я думал о греческой груди. Такая горячая, такая материнская, такая грудь! Агамемнон, мой бедный брат Агамемнон, укутанный рыбацкой сетью. Твой меч, такой греческий, такой меч!

Описывать несуществующие страны – ну это могут все, обладающие воображением. А вот описывать несуществующие конфигурации, писсуары судьбы, как Генри Миллер, – это в самом деле мелькания и конфетти. Точнее сказать, промельк, а то еще спутают с миганиями Вадика Фишкина. Впрочем, он, кажется, уже и не мигает. Свернулся клубочком. Что ему битвы за Украину, за воздух и просвет, ему уже похуй даже повешенный Березовский. И Лизы Березовской ему не жаль. Не знаю, это скудность воображения или пробелы в образовании – никогда ведь не читал поэмы "Вечная Печаль".

Но вот писсуары Миллера, писсуары Рембо – тот даже Африку превратил в гигантский писсуар.

Вы сказали "резервуар"? Вроде того: умер, шмумер, лишь бы был здоров, кармашки набитые брильянтами, суп и без докторов.

В это прекрасное утро я должен рассказать вам пренеприятную историю. Наша маленькая хозяйка, мисс Перельман, срочно вылетела в Киев на консультации. Ее на полонине укусил клещ.

Как это сопрягается с названием той древней культуры на территории Украины, которую я никак не могу вспомнить? (Трипольская)

Сопрягается, как дети в вышиванках, бегающие перед картинами Марка Ротко. Нет, конечно я знаю, что Ротко – белорус. Но на йом-киппур, лакомясь ветчиной, они наверное частенько обсуждали это с украинцем Филипом Гастоном. Смеялись.

Но, черт возьми, что же случится с мисс Перельман? Ответ дадут только консультации в Киеве у лучших врачей. Хочется думать, энцефалита не будет. Особенно если это будущая супруга занимательного сталинского математика Перельмана и будущая мама лобастого путинского математика Перельмана.

Хотя энцефалит на все их ленинградские головы!



Все это может показаться смешным, но я ведь был в самых адских приютах. Вертепах, где все идет параллельно. Россия и Украина и т.д. "Ну тогда не таких уж адских", – скажете вы. Нет, самых адских. Когда противоположности следуют параллельно, что может быть аже? Выбачте, гаже.

Переехали Днестр. Сияющий, желтый. Огромные откосы с восточной стороны. Очевидно, что мое пьяное поэтическое сердце могло бы отождествлять себя с однообразной нищетой России точно также, как сейчас оно радостно отождествляет себя с разнообразным плодородием Украины. Хлипкое поэтическое сердце, которое всегда норовит параллельно там, где надо супротив. Но не такими были сердца Рембо, Уитмена. Значит, дело не в пейзажах и акациях, а в тирании и свободе. Вот, скажем, если бы Украина пошла войной на Россию. Ой, вэй'з мир.

Но несмотря на все поэтические экспромты касательно схватки, если бы мне – с моим еврейским происхождением и русским языком – удалось бы хоть чуть-чуть послужить сшиванию Украины, смысл моей жизни можно было бы считать исполненным.

"Ты бы сразу сказала, что блядь, я бы тебе молнию поставил!" Это про кого? Это не про белочку, это про Господа Бога. Кстати сказать, рассказывая этот анекдот, я обычно забываюсь и называю "молнию" "змейкой", откуда люди мгновенно вычисляют мое одесское походження.

Ничего нового. Опять и опять выяснение отношений с миром. По типу Галковского, Бренера. Только у них нет Украины, а у меня есть Украина. Парадигма фразы – не могу вспомнить откуда. Так или иначе, у них гораздо талантливее. У Галковского, Бренера.

Не могу вспомнить парадигму этой фразы. Так же, как и название той древней культуры на территории Украины. (Трипольская)

Все там буде, моя эсерочка.

Откровенная диссиденщина. Неважно, кто мы такие, какие работы делаем – но мы против Советского Союза! Откровенная диссидентура. Он шел по улице, забежал в открытый двор – там был детский бассейн, куча народу, всякие игры – и это была откровенная диссида. Но двор был не так уж велик, изрядно запружен народом, обежишь его раз-другой, и что дальше там делать? Где-то в глубине, за поворотом скрывается церковь. Хорошо, ну а дальше-то что? Предоставительная диссиденщина. Ее сходство с жизнью нормальной. Но это хлопок двумя ладонями. Всего лишь двумя – не одной!

Лукашенке шлют депешу – через 30 часов 10 минут можно и в Гавану съездить. Можно, можно забраться на ветку-гилку. Кое-что сотрут, но волк серый все равно не спятит.

Если забираться невысоко, примерно как Гутов – не далее торшера, не далее первой опорной перекладины, мнящей себя бороздой.

– Здравствуйте, здрасте, можно у вас тут переночевать?

В пространстве между первой прыжковой перекладиной и землей обретаем покой.



"Вы знаете, есть у меня мальчик, будто усопший, – говорит режиссер, – он не участвует в расширении знаков, однако приезжает со мной на съемочную площадку, стоит над шеей, улыбается щербатой улыбкой, нависает расходящимися кругами знаков, полей, деревень".

Много ли слушателей будет у такого рассказа о режиссере? Много ли куриц мне дадут за него?

А время идет, каждая курица стоит все дешевле – 2-3 рубля, но я не могу купить ни одной! Лишь безголовые, трепеща крыльями, они летают над просторами кругов и полей?!

С высокой болезни, с высоты полос Ньюмана и Ротко, что я могу еще сказать?!

Только: "Благодарю за внимание!"

По крайней мере, так я описал знаменитого режиссера и мальчика его.

Я думаю, что московский концептуализм – подлое искусство. В лучшем случае, такое же подлое, как Советский Союз. В худшем – такое же подлое, как путинская Россия.

Крошками сдвинуть градусник, и пусть снег идет.

– Что? Где? Где снег идет?

– У тебя на бороде, на макушке.

Слепой Сеня Зильберштейн и глухой Леня Войцехов идут по Одессе. Леня: "Ты посмотри какая телка!" Сеня: "Где?!" Леня: "Что?!"

И белый снег акациевого цвета все падает, застилает Одессу, садочки, скважины, ставеньки, лишены интереса. В полях за Одессой, за городом, перешедши вал. Там уже нет ни Лени, ни Сени, только Стасик Подлипский знает себе идет по степи с гитарой, этакий цыганенок. Снег или акациевый цвет заполняет впадинки земли, крошки возгоняют градусник, мыши кота хоронят, ты стоишь в стороне, в схороне, в овине – беспробудным мировым сыном.



Это пространство, в котором ты отвечаешь за битву, за Троянскую войну. Хотя взмыленные кони отнесли ее далеко-далеко, к берегам египетского тумана. Но США тут как тут. Они взяли новый холст, прислонили к стене, и уже грунтуют, помилуй!

Я не знаю, когда они начали – наверное не так уж и рано, с полудня или даже файв-о-клока. Но холст уже весь в пятнах краски, в ключьях мощных – Джексон Поллок, за которым стоит эпоха. Великие дороги американской депрессии, рузвельтовского курса, ведущие в Мексику. Великие небоскребы, ведущие в теософию Рериха и Тибет. Великие лайнеры, переправляющие нас в Париж. Стриж, вечный стриж летает над пирамидами, не дает успокоиться.

Поллок пинает Мемнона ногой:

– Вставай, мой лунный мальчик, мой солнечный принц, ты ведь еще живой. Не станешь сверчком, наденешь поножи, бросишься в бой. Две картины стоят под углом – в них переплетения и схватки. И если даже опять двойку получил, они утешат тебя. В них будет вечная загадка.

Если одеяло не затвердеет, его и в выставку не включают. Только затвердевшие, поверх раскладушек войны и мира, одеяла, вроде работ Томаса Хиршхорна – их включают в выставки. Хотя и не клей высшей мудрости, и не ложа богов они, лишь какие-то оловянные солдатики карабкаются по их складкам.

"Перед лицом цветущего луга – все мы халтурщики", – сказал другой швейцарец, Роберт Вальзер. Перед лицом цветущего дерева, перед лицом сна – все мы тупоконечники, мнящие себя великанами, что-то там мямлящие про социализм.

Может, и мучились они в наушниках, но гордо говорили "Для!" – вещали для крестьян и прочих. Скакали на охоту, были синергистами, киношколами руководили. Школами кураторов.

А что, обладал ли Христос разумом? Обладает ли он чувством? Шимпанзе, живущие в Уганде, обладают чем?

Мотыльками на подносе неба здесь возникают "Биттлз", или строчка Булдакова:

"кладбищенская калитка мучилась уж сапогами".

А я все сижу – буду напрямую музыку слушать. В зоре неба повидаю ости. Мой младший брат Сережа разливает чай на Раздельной. И нет стола краше.

Сидеть на кладбищенском заборе все равно не буду. Лучше спрыгну в самую кукурузу, хоть хотелось бы не поранить ноги.

Вдруг какой-то отдаленный ход окажется верным – понимаете это?!

Есть траву не помешает – вдруг и Христом съешь яблучко.



Я не хочу легкого в безопасной степени. Если оно легко – пусть остается само по себе, пусть горит. Я не хочу от легкого отдирать клипот-скорлупки.

– Остановитесь! – кто это говорит?

О, этот вопрос извечный – кто говорит, кто поет с балкона, кто нигерийским солдатам приносит песен слова? И что значит рефрен петушковый:

"а ведь мама была права,

матушка была права"?

Смерти, конечно, девке не хочется, но, боюсь, получится.

Получится, получится, сомнется! Придется пролезать девке в маленькое ариаднино ушко. А такая ведь хорошая была девка – мудрая! Стояла, общалась на ниве современного искусства. Ниву ниве учила. Кожей чувствовала терриконы. Практики и семинары. Не боишься умирать, девка, пред липовым цветом? Взять тебя с собой вряд ли смогу. Ты не выйдешь из Аида по песку в своих башмаках неподкованных – возвращения не гарантирую. Разве что на куски порубать и в Аиде оставить – хоть так проконтролирую.

– Смотришь на крышу – одень колготки!

А я не слышу, не слышу! Мне все равно уж: детский сад иль с вишнями. "Чем ждуть такого мороза, не лучше ли прыгнуть с мачты", – говорили матросы на "Потемкине", плечом к плечу. Лишь все боящиеся, замешанные в дела еврейских тлей, говорят: одень колготки, стыдись смотреть на крышу – там высоко! (Уже забыли, как Юдифь снимала колготки – о, эта страшная, розовощекая, голуболобая Юдифь).

Ставка Вакуленчука – больше, чем жизнь. Это держава, от пяточки опущенная в воду,

расходящиеся лучи. (Там очень мелко, в гирле Дуная. Чтобы развернуть лодку, кормчий прыгивает, упирается ногами, ему по колено). Но вот можно ли решать международные вопросы там, где так мелко?! Международная конференция по Украине в пансионате у дунайского нулевого километра – что она сможет решить?! Впрочем, до этого нет дела Вакуленчуку, для него пяточка – всегда дзеновское отталкивание в темечко, всегда дымящая труба "Потемкина", всегда сияние-сияние в воде.

Во второй половине дня – когда Муза принимает Удар и становится толще, когда твоя Одесса садится на ягодицы, и дорога в Лес странным образом безлюдна. Банки уже силишься тянуть, вместо того чтобы открывать. Большинство, рассевшись по периметру комнаты, травят анекдоты. Думаю, им "Циклон" не пустят. Пустят узкоколейку.

А я? Я буду проводить линии до победного. Пусть знатоки уже давно утверждают, что трачу время зря, что белый цвет является не-цветом, ядом.

Утешь меня, пятка! Я зайду в бар или лес. Усядусь вдоль стены, но не буду анекдоты. Уж лучше проглочу пуговицу, залью спиртом, чтобы скорее растворить пуговицу. Стена становится стеной, ворота – воротами.

Кайф последнего свидания обломала, замучила, включила музыку. Отряхнусь, не пойду уже живописать – усталый. Да и вообще мне кажется, что недостойн песнопений. Стоят они порогом, а я – тля, не перепрыгнуть. Дело переходит в день, в ужас безнадежный, в "храни ребенка". Отчаялся совсем – думаю: на подставах мне не выехать. На подставах красок.

Но нет, всегда можно выехать, если запрягать правильно. Если дело в доблести, а не рисовать картинки. Будет, будет Одиссеей ортопедия. Будет монастырь в горах грезиться красочным свиданием, выступать дивным сумраком.

Какой-то результат меня магически отметил в пустыне. Подошла в трусах женщина дебилая. Я сам стоял как птица. И только бормотал про себя: "ляжки голые, мясистые". У печки, у Бога за пазухой, и все-таки в пустыне египетской. А женщина, конечно же, была арт-критик, личину эту надевают все.

Ее отверг в конце концов. Вот только я не знал и до сих пор не знаю: я призван ли? отозван? мелкозвон? Учитель... где учитель? И день восходит в уютном мерзком беспокойстве: "так поступают все", и я опять иду в пустыню, школу, детский сад, и женщина в трусах опять магически подходит.

Чем объяснить этот стул мировой, отрицающий всякую подложку, подземь? Чем объяснить эти шорох и гам, никогда не переходящие в звук? Будто черепашонок Штирлиц в нежности драпировок. Разве никто не пел в школе "Взвейтесь кострами..."? Пели, конечно, но звук исчезал в актовой зале – акустики не было. Будто картины "Не ждали" или "Письмо с

фронта". Или всегда глупейшая картина "Синеус, Рюрик и Трувор". Даже Штирлиц, даже отчаянные революционеры вскоре начинали забывать, что должно стучать в голову, когда оно стучает. Вот и оставался на все про все рыхлый глупейший ответ: "Ничего не понимаю! Ты знаешь, мне еще надо об этом подумать". (Так сказал Мортон Фельдман своему другу Филипу Гастону, когда тот от абстрактной живописи вернулся к фигуративной).

Еще! еще! Мы должны зажевать это через плечо! Не знаю, может, договориться о швейцарском стуле с длинной резной спинкой? Чтобы надежда еще трепетала в разрыве утреннем, как идущая в школу пелеринка.

"Я сделал в высшей степени крутую афишу!" – Ленчик кричит. Будто сизый медвежонок опять разжимает вежды.

– Но это должно же быть с какой-то задачей, – они говорят, – как автовокзал, как стальная кисть!

А что, таинственный причал – вас уже не устраивает?! Кисть Неба... В Украине, конечно, все в Украине. Все в просвете, где девичья пелеринка. Кисть адепта японского стиля "нанга" (просвещенный дилетантизм) движется как девичья пелеринка, спинка стула покрывается резьбой. Покой свертывается в карман как ролл банкнот. Мы опять проникаем в дома, где никто не живет. Медвежонок-Европа переворачивается на свой толстенький живот. Отчаянье становится зеркалом ручья, текущей воды.

– А медвежонок не хотел принести воды?

Нет, медвежонок не хотел, нам не нужна лишняя влажность. Не будем пикейными дурачками, у них слюни летят – ссылки из газет. Лучше прилетит звездолет – Ленчик засовывает руки в карманы плаща: "В этих домах никто не живет!". Это Япония, чистый восторг, восход, восток, вдохновение – загрунтованная пластинка, пляжная подстилка – переворачивается на живот.

Игорю Чацкину (Чаце)

Пожалуй, Чаца, ты боишься, перестраховываешься, пишешь по слову в столбик, авангардное правописание. А если бы ты поднатужился, если бы почитал эти тексты людям. Они ведь хотят их услышать, эти розовощекие, розовогрудые, розовые тексты. Если только не бояться. О, мой Чаца. Не бояться смысла, погреба, подвала. Надо прыгать. Что там заслонять провал узорчатой дверцей – грязной деревянной вонючей дверцей – захаровской архивной декорацией – децимацией. Мы не захаровы, мы – медведи, о мой Чаца! Пусть даже сойдем с гор, с Альп раньше времени, в штанах мокрых экскрементами, мы сойдем с Альп раньше времени, мы сверзнемся в люк, мы будем брести медленно, срывая грибы. Для пропитания. Не ставь лишних точек, Чаца! Мы будем брести медленно и со вкусом, вразумительно, в штанах грязных, запачканных, срывая грибы.

(Мы будем брести на юг, медленно и вразумительно, отклоняясь слегка то к западу, то к

востоку).

Достичь трещины мира, чтобы продолжить. Этакая сечь или сичь, покоящаяся в центре Альп. Нет, несколько ниже центра, на склоне, этакая линза, пизда. Достиг ли я ее? Не уверен. Будущее покажет. Подобно тому, как фокусник не уверен в своих взаимоотношениях с миром. Даже если фокус удачный. Пожалуй, именно удачный фокус и далек от этой альпийской пизды.

Кудрявцев, волк я или нет? Можешь ответить мне сложненько. Я знаю, раскладушки живописи не могут быть порукой. Поскольку мы все в доме несчастном принца, поварята на кухне домика его. Не Атриды, хоть в сети можем попасть раз в столетие. А так – всё глупый шорох поварешек, шипение брызг на раскаленной плите... Уснуть, уснуть, и видеть сны – как новогоднюю колбасу. Такая участь, миленький Кудрявцев. Такая наша участь, кудрявится листок.

Муслим Магомаев пел эту песню и проигрывал своему конкуренту в Сопоте раз за разом, сто раз, двести раз – так проигрывал, что Брежнев в конце концов вообще запретил ему петь эту песню "Товарищ". Настолько проигрывал, насколько говно проигрывает жопе, или, скажем, субъект проигрывает входящему в него топору. Песня "Я песней как ветром наполню страну". Проигрывал настолько, насколько проигрывает ветру входящий в него топор. Насколько "все или ничего" проигрывает "тому-сему". Поезда везущие нас на БАМ.

"У-у! У-у!" – вползает топор в блевотину, время вползает в Эон. На моей сегодняшней картине – "Где-то в Африке..." она будет называться – Лиса Алиса и Кот Базилио тоже изображены в виде зеленоватого блевотного пятна, что не помешало им стырить мешок у бедных негров, ждущих у костра в Стране Дураков. Так что молодцом держался Булат-Муслим Магомаев. И то сказать – его ведь когда-то даже космонавтов встречать посылали. Одна птица наступила в мое пятно – у нее на лапках остался мокрый след. Другая птица захотела узнать, чем занимается (моя) философия – результат оказался примерно таким же.



"И шел я и плакал другой стороной. Когда мой товарищ прощался со мной".

Части ломая, переставляя, сделал вид мой товарищ, будто не было нашей войны, будто "запад нас наебал". Так сказал мой глупый товарищ, и раму сломал, переплет.

Значит, не было войны?! И войны со всемирной пошлостью тоже не было? Так что ли, товарищ мой? Не было Эвереста в переплете? В курином залете? Ну и сам ты теперь курица двуглавая, товарищ мой, только мнящая себя эскадром летучим. Остался с Москвой, с пиздецей. "Ах, ах, Запад наебал наш маленький гороховец", – нахохлился Додон.

Подставляй, Додон, спину! Да и вообще не отмоешься.

Елка у Ивановых, вечер у Кашалота, но все вместе – вроде Гогольфест. Неизбывная дремота курочки в вечеряющих полях. Один участок – с анашой, другой, заросший – с колбасой. Еще под вишней зарыта свинка-золотая щетинка. Все ворочаешься теперь, и по-прежнему живой, и заснуть не можешь. Вроде как одел когда-то лапоточки, и теперь в них всю жизнь ходишь. В лапотках заставила тебя весь день и вечер проходить Салтычиха.

Революция вносит пл-а-а-а-ны, – так поет наркоман, так мудака-игровец щелкает фэйсбуком: дескать, надо всего лишь избавиться от совка. Но при этом сохранить дистанцию. Нелепые и скользкие ребята. Да засуньте вы эту дистанцию в жопу своему жан-жаку!

И другое. С ранних лет я слышал: истина где-то посередине (типа не у нас, не у американцев и т.п.).

И лишь теперь, изъездив світ, я знаю:

– Не-а, хлопчики, левенькие, пошленькие, истина – она всегда с краю. Только страшно подумать, сколько буддистских медитаций надо пройти, чтобы взять ее.

Суть цифры – не корчма. Мы едем все дальше. Пусть будут распетые, растягиваемые слова до самых границ мира. Вот она цифра – сколько в растягиваемом ты сможешь протянуть букву "а", сколько в растягиваемом ты сможешь протянуть букву "а". Надо помнить, что смерть – это тоже конь, отнюдь не прекращение скачки. Все пребывает в растягиваемом на скаку – и это не песок, и даже не Одесса.

Усилил насилие в Газе. Усилил и прочую хуйню. Мой маленький пресветлый автобус по-прежнему пробивается через весенний Экибастуз, так что жди теракта. То ли Путин придет арестовать, то ли Толик, то ли вообще не знамо что – какая-нибудь Белая Криница. Очень упрямое желание, вопреки Ницше, не тушить свет в автобусе. Не становиться мразью. Вопреки Мизиане. Все мы вышли из Африки? Нет, некоторые из зачарованной Америки.

– Будем жить как раньше, – говорит старик.

Скажешь тоже, Толик или Аркадий! Когда регулярно кладешь валидол под язык, много уж не наговоришь. Лишь два круга под насыпью ж/дорожной, видишь ли их?! Подобно абстрактной картине: молчание-Зевс, и лиман, и Сенгай-слепозмейка. Правь парус свой, молчаливый старик! Не пройдешь меж кругами, но править, но править на них в сознании, что ты не пчела и что "завтра" не будет "вчера" – на это всегда ты способен. О, сын мой Овин, о, старик, ты велик и при этом всегда слепозмейка.

II

Гуси во время длительных перелетов делают не больше четырех взмахов крыльями в минуту. Как достигается подобная эффективность? Гусь летит спиной вперед и валится навзничь, в свое будущее. Может, у гуся есть осознание самого себя, и он чувствует в этот момент какую-то истому, засыпание.

Мне почему-то вспомнилось, как мы ездили с Малышкиными в Одессу в 2010 или 2011 году,

последний раз, до того, как все началось. Когда казалось, что самое страшное – это всего лишь, что пьешь много, и опрокидываешься назад. А так – вроде все хорошо. Я даже писал тогда "Раджпутов", текст об индийской миниатюре. Странно и вспомнить. Или даже, со всей глупостью, со всей отвисшей губой:

– О раджпутах, Карл! О раджпутах!

И последний раз, когда видел в живых Перчика.



– Кто это сделал?! – спрашивает Леня.

– Это сделала Россия!

– Что сделала Россия?! Что уже два года не могут у нас... – не могут то да сё... газ какой-то подключить...

– Да, это сделала Россия!

– И как же быть тогда?!

– Избрать неосновной путь. Ну сделать, Леня, скажем, твою книжку. Украсить стебельками палочку буквы М. Как это делал в Праге Карел Малих. Он, впрочем, называл себя "визионером". А я не буду нас с тобой, Ленчик, называть "визионерами". Мы лишь сеточки и пояса этого дурацкого мира.

– Пояса на животике жирного Ройтбурда?

– Хоть бы и так. Колпак дурака несменяемый нам тоже нужен, потому что как без него коррида?! – спроси хоть у Гойи!



Мама в стихах танцевала школьных младенцев –
кого-то буханкой, кого-то по голове, но всё вышли сеточки и пояса,
звездное небо прикрылось –
вроде Уорхола,
контур машины размыт,
сверху светит одна-две – мерцает звезда,
мы внесли расслоение вечности –
как ответ на вопрос тупого полита.